

## СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

*В рубрике помещены воспоминания доктора философии Мэри Маколи из Великобритании о ее стажировке на юридическом факультете Ленинградского университета в начале 1960-х годов. Это отрывок из ее неопубликованной книги «От Ленинграда до Санкт-Петербурга», написанной в 1993–1994 гг. Мемуары адресованы западному читателю. До него автор пытается «донести живой образ России», рассказав «о своих отношениях» с этой страной со студенческих дней (1959) до 1993 года, а заодно и разобраться в собственных впечатлениях тридцатилетней давности исходя из накопленного социологического опыта. Воспоминания, надемся, вызовут интерес и у российских читателей, хотя некоторые из них, возможно, не согласятся с манерой подачи материала и его оценочным фоном. Следует учесть, что автор смотрит на известные приметы послесталинских 60-х как человек совершенно другого (по описываемым временам) социального мира. Да к тому же это взгляд тогдашней юной студентки. Автор описывает социальную жизнь молодежи, типаж советского студенчества — друзей и знакомых, их учебную и трудовую жизнь, быт, убеждения и душевные помыслы. «...Угол зрения, под которым рассматриваются они и Россия, — замечает Маколи во введении, — принадлежит наблюдателю из Англии. Эта Россия принадлежит мне, а не им...». Но «им» она тоже принадлежит. Ведь речь идет о юности описываемого поколения, которая стала общим для всех фактом социальной истории. Мэри Маколи удалось таким образом остановить уходящее прошлое, или расширить настоящее (как Борис Докторов определяет реконструкцию близкой истории — близкой не только во временном отношении). За что мы, безусловно, благодарны автору воспоминаний.*

*Мэри Маколи — автор пяти книг о России, последние из которых: «Советская политика, 1917-1991» (Oxford University Press, 1992) и «Россия: политика неопределенности» (Cambridge University Press, 1997). В 1996-2002 гг. она возглавляла представительство Фонда Форда в Москве. В настоящее время проживает в Лондоне и работает над темой «Альтернативы к лишению свободы для несовершеннолетних», продолжая писать о политике и обществе в России.*

*Текст публикуется без сверки цитат из недоступных нам личных дневников и переписки, без расшифровки упоминаемых имен, уточнения фактов общественной жизни и т. п. Редакция благодарит профессора В.А. Ядова за содействие в опубликовании воспоминаний и Е. Иванову за перевод текста с английского языка.*

*М. МАКОЛИ*

### **ДЕТИ СТАЛИНА: ЛЕНИНГРАД 1960-х**

Мы жили в студенческом общежитии, расположенном на берегу Невы напротив Зимнего дворца, по четыре человека в комнате. Из окна нашей комнаты на пятом этаже, особенно когда дворцовые окна горели золотом в лучах заходящего солнца, открывался потрясающий вид. В холле общежития висели тяжелые гардины, бронзовый купидон и огромное позолоченное зеркало, плакат «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» и фотографии членов Политбюро; стоял бюст Ленина. Доступ на лестницу контролировался суровым вахтером. Состояние туалетов было чудовищным, а помыться можно было лишь иногда: горячая вода подавалась по вторникам и четвергам с 2 до 4 дня. Зато в столовой практически всегда можно было поесть бледных сосисок и вареных яиц. Девушки и юноши жили на разных этажах; у некоторых женатых студентов были дети, разъезжавшие по широким коридорам на трехколесных велосипедах. И хотя довольно часто можно было встретить пьяного студента, карабкающегося вверх по лестнице, драки происходили редко. Общежитие было безопасным местом, там жили дружелюбные люди.

Мои друзья и соседи по общежитию, студенты-историки из провинции, были моложе и наивнее, чем мои друзья из Ленинграда. Однажды, к моему негодованию, об этом мне сказал Володя, сам прошедший войну. Его одежда была сильно поношенной, на лице шрам, светлые волосы растрепаны, как будто он никогда их не расчесывал; жил он на очень скудные средства: свою пенсию по инвалидности и периодические заработки в литературном архиве. Интересовала его только литература. Все его друзья были странными людьми, имели какое-либо отношение к миру театра или искусства. Один из них занимался продажей театральных билетов и мог, к примеру, достать шесть билетов, но нас было семь человек, мы налетали шумной беспокорной группой на беспомощного контролера в театре и проскакивали в зал, пока он путался в числах. Володя был единственным из моих друзей, кто по возрасту мог участвовать в войне. Однажды летним вечером мы сидели в саду у Адмиралтейства среди распутившейся сирени. Бледно-зеленый Зимний дворец и желтое Адмиралтейство выглядели особенно безмятежно над тихой рекой. Володя

---

**Маколи Мэри (Mary McAuley)** — доктор философии, нештатный научный сотрудник Международного центра тюремных исследований при Кингс Колледже (Лондонский университет). **Телефон:** (44)-207-848-1922  
**Электронная почта:** [icps@kcl.ac.uk](mailto:icps@kcl.ac.uk)

рассказал мне о войне. Ему было пятнадцать, когда началась финская война. Из магазинов исчезла водка, и его отец, алкоголик, умер, выпив метиловый спирт. Его мама работала железнодорожным кондуктором, но когда немцы подошли к Ленинграду, поезда перестали ходить, и она сидела дома, в их комнате в коммунальной квартире. Володя приписал себе лишние годы, был принят в армию и послан защищать пятачок за рекой близ Ленинграда, окруженный немецкой армией. К счастью, он был легко ранен и перевезен за реку, прежде чем немцы захватили оставшиеся оборонительные позиции. Потом началась блокада и страшная зима 1941–1942 года. Как молодому солдату, ему полагался лучший паек, чем гражданским, — кусок хлеба и водянистый суп, еще один кусок хлеба и немного селетки, и кусочек шоколада, — но старичок-еврей, живший в их коммуналке, обычно оставлял для него немного от своего, еще более скудного, пайка. Задачей молодых солдат было патрулировать улицы и смотреть за порядком в очередях за хлебом. Иногда кто-нибудь, доведенный голодом до сумасшествия, выхватывал паек у покидавших очередь и запихивал его себе в рот. Солдаты забирали таких людей и расстреливали у реки.

Воинская часть располагалась в Александро-Невской лавре, в конце старого Невского. Володина мать жила в конце Лиговского. Накануне Нового года он пошел навестить ее и обнаружил, что она умерла от голода; старичок-еврей тоже умер, оставив свой последний паек для Володи; вся мебель (и все книги), кроме кровати, на которой лежала мать, была пущена соседями на дрова. Он вынес тело матери на улицу и, так как не хотел, чтобы она лежала в общей могиле, нашел санки и пошел к церковному двору. Идти было далеко, мороз был страшный, но когда он добрался до церкви, священники посадили его к огню и поделились водкой, чтобы придать ему сил; он согрелся и отправился в обратный путь к казармам. Когда он дошел до Николаевского вокзала, а впереди был еще километр пути, ноги его подкосились, и он сел, но случайный прохожий поднял его, говоря, что он должен идти, чтобы не умереть. Володя добрался до Лавры и поднялся по лестнице в казарму, где несколько солдат играли в карты. При его появлении все оживилось и начали заключать новые пари — сколько он проживет; в качестве ставки выступали Володины пальто и сапоги. Это были обычные правила игры. Он было лег на свою койку, но решил предпринять последнюю попытку выжить: опять спустился по лестнице и пошел через двор к ближайшему госпиталю, где лег в коридоре вместе с такими же, как и он сам. Изнуренные врач, медсестра и администратор госпиталя, поставленные в безвыходное положение огромным количеством больных, решили отправить как можно больше в другой госпиталь. Он помнит, что его

вместе с другими погрузили в открытый кузов грузовика, и два водителя безуспешно объезжали один госпиталь за другим: принимать новых больных все отказывались. В конце концов водители решили, что единственным выходом для них будет выгрузить всех у дверей госпиталя и быстро уехать. Так, благодаря очень счастливой случайности, Володя оказался в госпитале для раненых солдат, где была еда. Но к тому времени он уже не мог есть, его язык распух, и он медленно умирал. На соседней кровати лежал здоровенный и очень голодный грузин, сказавший Володе, который был слишком слаб, чтобы возражать, что он может его вылечить в обмен на Володину порцию еды. Грузин взял его за челюсть, прижал язык, запихнул ему в горло кусочек селедки и глоток уксуса, и сжимал руками его челюсти, пока Володя боролся с рвотой. Время от времени он повторял свое лечение, съедая Володину кашу, хлеб и суп. Через несколько дней грузин впихнул ему кусочек хлеба, и с этого момента Володя снова начал есть. Доктора ничего не знали. После выздоровления Володю снова отправили на фронт, и он прошел всю войну, был несколько раз ранен, что давало ему право на получение пенсии по инвалидности; вернулся в Ленинград и два года работал на заводе, прежде чем поступить в университет на отделение французской литературы.

Хотя Володя и был более критически настроен по отношению к сталинскому прошлому и советскому настоящему, чем мои друзья-студенты, он все же никогда не сомневался, что Октябрьская революция принесла огромные выгоды беднякам, что идеалы социализма очень хороши, в то время как капиталистическая реальность оставляет желать лучшего. И на это я могла мало что возразить. Я быстро поняла, что в СССР было мало социалистического, о жизни на западе почти ничего не знали (но что знали о советском обществе на западе?), но это не повлияло на мою оценку событий 1917 года. Меня ужасало надменное отношение однокурсников к физическому труду и их расистские настроения. «Неужели ты действительно работала продавщицей, официанткой, мыла полы?» — спрашивали они с недоверием. Кое-кто из студентов работал по ночам водителем трамвая, но большинство старались устроиться служащими. И в то же время родители некоторых из них не имели никакого образования. Моя соседка по комнате, Лиля, была одной из пятерых детей в семье деревенского школьного учителя, который женился на молодой крестьянке. Мама Лили после смерти мужа работала уборщицей в больнице; только тогда она научилась грамоте, чтобы иметь возможность отвечать на письма Лили из далекого Ленинграда. У Лили в жизни было две страсти: сон и косметика. Она проспала весь последний год учебы в университете. Вставала к полудню, чтобы нанести толстый слой макияжа, тщательно повязав голову шарфом, так что не было видно

почти ничего, кроме глаз и губ, шла прогуляться по Невскому и возвращалась, тяжело вздыхая по поводу отсутствия привлекательных мужчин (она любила повторять фразу из книги Ильфа и Петрова, что в Рио-де-Жанейро все мужчины ходят в белых штанах); после этого, полистав журнал мод, снова ложилась спать. Она невозмутимо отнеслась к тому, что ее фотографию вывесили на стене после комсомольского рейда в ответ на жалобы преподавателей, что студенты не приходят даже на лекции, которые начинаются в 10 утра. Время от времени члены комитета проверяли чистоту комнат и выставляли оценки или делали замечания: «Товарищи, эта комната — просто позор! Пожалуйста, наведите порядок! И нельзя брать фарфор с буфета!». Туалеты были в жутком состоянии, а мусорные корзины полны грязных использованных газет. Мыться мы обычно ходили в городскую баню. Там все стояли в огромной наполненной паром комнате, отделанной кафелем, прижимая к себе эмалированные тапки и куски мыла, и ждали, когда освободится кран, чтобы начать ритуал намыливания и обливания себя водой из таза. Заплатив еще несколько копеек, можно было встать в очередь к парикмахеру и с волосами, накрученными на стальные валики, посидеть под мощнейшей сушилкой, пока бигуди жгли уши. Но Лиля укладывала свои волосы «ульем». Ее специальностью была археология. Каким-то образом она все же получила диплом и распределение в музей в Душанбе, чему была очень рада, так как рабочий день там длился 4 часа из-за работы с вредными химическими реактивами.

Жить с Лилей было легко, чего нельзя было сказать о моей ближайшей подруге Вере. Темпераментная, самоуверенная, прирожденная школьная учительница, но постоянно изображающая из себя трагическую героиню, она могла сидеть до трех утра, затенив настольную лампу полотенцем, — готовилась к завтрашнему экзамену или сочиняла очередное 20-страничное письмо с «объяснениями» своему возлюбленному, который жил этажом выше. У нее был хороший голос, и она часто распевала арии из «Кармен» (разумеется), принимая позы перед зеркалом. Ее настроение менялось от оптимистичного взгляда на будущее до предсказания конца света, но по натуре она была оптимисткой. Как историка ее ожидало распределение либо в деревенскую школу, либо «в удаленные районы»; она выбрала Сахалин и прожила там пять лет, пройдя через два катастрофических брака, прежде чем вернуться в родной Тамбов.

7 ноября 1961 года мы с Верой пошли на демонстрацию на Дворцовой площади; на трибунах стояли безымянные и безликие партийные руководители в пальто и аккуратных фетровых шляпах. Мои знакомые студенты из общежития ходили туда потому, что это от них ожидалось, но это была лишь одна из причин. Те, кто родился и вырос

в городе, устали от демонстраций и вместо них ходили кататься на лыжах, но для студентов из провинции это было значительное событие, которое нельзя пропустить. Вечером того же дня мы сидели у окна и смотрели на салют за рекой над Зимним дворцом. Когда в небе появился сверкающий портрет Ленина, я не поверила своим глазам и расплакалась от досады, не в силах совместить это зрелище со своими вчерашними впечатлениями. Накануне Сергей, худощавый парень с запавшими щеками и уже с некоторым количеством металлических зубов, одетый в потрепанную одежду, приходивший ко мне в общежитие, чтобы взять почитать английские книги, пригласил меня на праздник на Кировском заводе. Я была очень возбуждена. Ведь мое исследование было посвящено трудовым отношениям, а Кировский завод, самый известный в 1917 году, до сих пор был крупнейшим в городе. Не знаю, чего конкретно я ожидала. Вечер, проходивший в большом зале, был устроен для всех рабочих завода, где Сергей работал токарем. Подавали лимонад и пирожные, устраивались бальные танцы и викторина, которую Сергей выиграл. Когда вечер закончился, мы вышли и уселись на скамейке в парке. Было темно, и я все больше замерзала, пока Сергей рассказывал мне, как в 1956 году он, студент, был арестован и сослан на три года в лагерь за то, что процитировал «Прогнило что-то в Датском королевстве» на собрании студентов, состоявшемся после секретной речи Хрущева. Он рассказывал о лагере и людях, сидевших вместе с ним. Весь следующий день у меня было тяжело на душе, и я безуспешно пыталась понять, как лагерный мир может сосуществовать с празднованиями, демонстрациями, в которых с легким сердцем участвуют столь многие, включая и меня.

В общежитии мы следили за разоблачениями XXII съезда, статьями и лагерными историями, реабилитацией и время от времени в узком кругу друзей обсуждали последние события. Некоторые члены партии первое время отказывались верить, что Сталинград переименован, и испытывали противоречивые чувства по поводу выноса тела Сталина из мавзолея. Но у большинства студентов не было ни малейшего желания заниматься политикой, и всем было абсолютно ясно, что делать это рискованно. Политика была для тех, кто находился «наверху». Мы пели песни Окуджавы, рассказывали политические анекдоты, когда были вне стен, имеющих уши, и аплодировали почти каждой строчке «Дон Жуана» в постановке Акимова, талантливого театрального режиссера. Студенты получали бесплатные билеты на предварительные показы его постановок; пользуясь случаем, он представлял зрителям пожилую женщину, которая, сидя в одиночной камере, переводила по памяти стихи Байрона на русский. В Публичной библиотеке я прочла «Один день из жизни Ивана Денисовича» Солженицына. Нужно было заказать экземпляр журнала «Новый мир» у

библиотекаря, расписаться за него и читать, сидя за столом прямо напротив выдачи. Бледно-голубая обложка журнала потемнела, и страницы, почерневшие по краям, придавали повести вид мемориала. Был случай, когда одного студента с Дальнего Востока исключили за легкомысленные критические высказывания в общежитии, но, скорее всего, у всех было чувство, что он просто сглупил. В воспоминаниях о жизни на Мытном после гражданской войны, когда дом был отдан под общежитие, описываются люди и заботы, которые я узнавала в начале шестидесятых: аполитичные студенты, скучающие по дому провинциалы, старшие активисты, преданные делу. К шестидесятым жизнь стала проще, все немного разбирались в политике и никто из тех, с кем мне приходилось сталкиваться, не был до такой степени убежденным коммунистом, как активисты времен гражданской войны. Некоторые организовывали субботники, но мои друзья в них не участвовали, а сами организаторы не проявляли желания общаться с западными студентами.

В 1962 году в Ленинград приехали первые африканские студенты из Нигерии, Мозамбика, Танзании; жили они в общежитии на Мытном. Исключение было сделано только для племянника Патриса Лумумбы, который жил в отдельной комнате в Гавани и заслужил плохое к себе отношение из-за уверенности в собственной исключительности. К сожалению, отношения между африканцами и русскими в общежитии ухудшались. Русские были поражены тем, что африканцы хорошо одевались и выглядели как «люди с запада». Официально африканцы до сих пор представлялись в набедренных повязках, гнувшими спину на белых империалистов. Однако приехавшие африканцы, получавшие, как и все западные студенты, стипендию в три или четыре раза выше, чем советские, сравнивали условия дома и в общежитии отнюдь не в пользу последних, критиковали еду и требовали, чтобы их поселили отдельно от русских. Они создали комитет и созвали собрание, чтобы выдвинуть свои требования. На каникулы они уезжали в Париж или Лондон. Многие из них были образцовыми жильцами, но один-два человека, пользуясь тем, что русские студенты не могли их различить, брали деньги в долг и не возвращали. Русские реагировали вначале с недоумением, затем более рационально («они, наверное, дети очень богатых африканцев» — что в отдельных случаях было правдой), а потом перешли к откровенному расизму. Я оказалась в непривычной ситуации: по крайней мере часть культуры у меня была общей с африканцами. Некоторые из англоговорящих африканцев искали моего общества, нигерийцы (помоему) хотели поговорить о крикете, просили у меня английские газеты и «Экономист». Русские студенты были озадачены. Так значит, меня все-таки нужно причислять к угнетателям? С одной стороны, я была рада, что упрощенная картина империализма наконец-то выплыла наружу,

но с другой стороны, с неудовольствием поняла, что мне было проще установить дружеские отношения с африканцами в Ленинграде, чем в Англии.

\*\*\*

Официально западным студентам разрешалось путешествовать в пределах сорокакилометровой зоны вокруг города. Обычно, но не всегда, я придерживалась этого правила. Мы принимали тот факт, что наши передвижения отслеживаются и все наши знакомства известны. Была большая вероятность того, что некоторые знакомые докладывают о наших действиях. Мы старались, чтобы группы наших друзей не пересекались. Чем меньше кто-то знал о других контактах, тем меньше ему пришлось бы скрывать в случае возникновения вопросов. Мы все знали, что знакомство с иностранцами может привести к проблемам. Один из моих друзей, Эльмар, наиболее явно пренебрегал этими правилами, установленными временем. На Всемирном фестивале молодежи в 1958 году он встретил студента из Великобритании и в нарушение всех правил привез его на две недели из Москвы в Ленинград. Когда они в конце концов пошли в милицию, чтобы зарегистрироваться, Джиму вручили билет, чтобы он уехал на следующий же день, а в квартиру Эльмара пришел полковник КГБ. Так у Эльмара начался период непрекращающихся знакомств с иностранцами и периодических вызовов в КГБ на беседу, во время которых он говорил о важности интеллектуальных и политических дискуссий для мирного сосуществования и о той пользе, которую получают иностранцы, общаясь с ним, философом. Это, безусловно, было правдой, если принять во внимание его пылкий ум и нетрадиционные идеи. Однажды он сказал мне, что на следующий день его вызывают на беседу и он позвонит мне в общежитие в семь часов. Он всегда на полчаса опаздывал (несмотря на то, что его часы были поставлены на полчаса вперед), но в тот вечер он опаздывал больше чем на час. Мое беспокойство нарастало и, будучи уверена, что седею на глазах, я каждые десять минут подбегала к зеркалу. Он в это время стоял в какой-то очереди.

Его родители были преданными членами партии. Выходцы из небогатых семей среднего класса провинциальной дореволюционной России, они получили образование и вступили в партию еще до того, как в конце двадцатых годов приехали в Ленинград изучать ботанику. Они никогда не сомневались в правильности руководящей роли коммунистической партии и преимуществе социализма перед капитализмом. Они не регистрировали свой брак (ненужная буржуазная условность) до 1950-х и назвали своего старшего сына, родившегося в 1932 году, Эльмаром в честь Энгельса, Ленина и Маркса. В кругу коллег отца Эльмара называли «настоящим коммунистом», под этим



подразумевалась его преданность развитию ботаники в интересах всего человечества и его готовность помочь нуждающимся. Он помогал родственникам арестованных и выискивал пути для высылки из города с заданиями тех, кому угрожал арест. В 1941-м, когда немцы приблизились к городу, семья переехала в Ботанический институт, и после смерти директора института отец Эльмара занял его место. Когда в ответ на начатую руководством страны кампанию члены парт-организации института представили ему для передачи в райком критические замечания по поводу политической позиции некоторых сотрудников, он просто запер толстое досье в шкафу. Он отказался от предложенной дачи: это было слишком похоже на частную собственность. А когда во время спора о верности в браке, в котором он сослался на коммунистическую мораль, Эльмар ответил ему: «К черту твою партию», он сел на кровать и разрыдался.

К тому времени Эльмар уже сам вступил в партию, и это составляло часть проблемы. Он подал заявление в партию не из чувства преданности ее целям, а потому что декан философского факультета, старый партийный работник, намекнул, что это нужно сделать; отказаться было трудно и могло сильно помешать карьере философа, и, в любом случае, почему это должно влиять на его поведение? Я была слегка шокирована, когда он сказал мне: «Откровенно говоря, я не считаю себя коммунистом, я считаю себя русским». Будучи непрактичным и разбрасывающимся философом, пытливым вникающим во все, Эльмар с самого детства очень заботился о том, чтобы иметь возможность делать все, что ему хочется. В шестидесятых он в основном добился своей цели. Он мог читать книги по своему выбору, имел доступ в «специальное хранилище», читал лекции как считал нужным; у него было время, чтобы писать, а официальная критика, последовавшая за публикацией его книги «Культура и личность», лишь упрочила его репутацию. Членство в партии его мало к чему обязывало, за исключением посещения собраний. Ему посчастливилось работать на факультете, где преобладала относительная свобода мнений и прощались его нетрадиционные взгляды, хотя бывало, что, когда он защищал своих коллег или студентов, обвиняемых в политически некорректном поведении, старшие товарищи набрасывались на него с обвинениями в политической глупости. Партийная репутация его отца служила дополнительной защитой.

Эльмар не горел желанием сражаться с системой. Он утверждал, что есть обходные пути. Система была похожа на советский забор — на воротах всегда висит табличка «Вход запрещен», но если немного пройти вдоль него, то можно найти дыру. От Эльмара я узнала, что членство в партии мало что говорило о политических взглядах человека. Он был единственным из моих друзей членом партии, но его

мысли и действия были совершенно непредсказуемы. Кто, кроме него, выбрал бы для лекции гидам Интуриста тему «1984» Оруэлла и, когда к нему после лекции подошел молодой человек из цензуры, спросил бы у него, не даст ли он почитать «Ферму»? Эльмар был готов идти на риск. Он дал мне прочесть самиздатовский протокол дискуссии на тему «Отцы и дети», прошедшей на одном из факультетов университета. Заседание вылилось в обвинение старшего поколения в боязни открытых высказываний в свое время и в недостаточно критическом настрое к сегодняшней политической ситуации.

Походы в лес, катание зимой на лыжах по сосновому бору и покрытому ледяными торосами морю, палаточные лагеря, костры и ловля раков весной и летом, сбор ягод и грибов осенью были важными составляющими жизни Эльмара и группы его друзей со школьных лет. Они знали друг друга с блокадного детства, вместе ходили в школу и поступали в институты. Их жены и подруги часто менялись. За исключением Эльмара, все они были естественниками и редко вели разговоры на политические темы, но я знала, что настроены они более критически, чем мои друзья из общежития. Они подшучивали над Эльмаром за то, что он был членом партии. Вера бы этого никогда не одобрила. Критика одного из них, Левы, работавшего врачом, доходила до такой степени, что я была в шоке. Когда мы разбили лагерь в лесу, захваченном фашистами во время блокады Ленинграда, он рассуждал о положительных сторонах нацизма по сравнению со сталинизмом. Мы также ездили на Финский залив или снимали комнату в деревне, чтобы покататься на лыжах. Пили все много. Эти экскурсии всегда начинались с бесконечных телефонных переговоров и посадки в поезд, следующий за тем, на котором мы собирались уехать. Потом мы ехали, иногда стоя, иногда сидя на деревянных скамейках, среди молодых и старых, читающих газеты, прижимающих к себе детей, направляющихся сажать или кататься на лыжах, с рюкзаками, корзинами и ведрами. На станции мы всегда обходили магазины, чтобы купить вина, хлеба и колбасы. Позже, в семидесятых, когда в городских магазинах товаров стало меньше, мы покупали все, что было. Если в летнюю жару продавалась мороженая рыба, мы все по очереди несли в рюкзаке два килограмма оттаивающей рыбы, завернутой в газеты.

Среди других моих знакомых были близнецы Люба и Леонид Романковы, у которых, в свою очередь, был свой круг друзей и интересов. Это были ленинградцы, интересующиеся культурой и искусством, больше знающие о западном искусстве и с более утонченными вкусами, но работающие все физиками, химиками и инженерами. Это науки, из которых родители в пятидесятых заставляли своих детей выбирать будущую специальность, и талантливые люди этого круга

сочетали свою научно-исследовательскую работу с живописью, сочинением стихов и спортом. Новый 1962 год я встречала среди них в деревне, вне 40-километровой зоны, и вскоре записала в своем дневнике: «Сиверское — большая запущенная деревня, здесь есть колхоз и рынок, обнесенный забором, но, перейдя по льду озеро, выходишь к рядам маленьких дач, стоящих посреди небольших садигов... Мы все сидели в одной комнате и пытались согреться, куря сигареты и рассказывая анекдоты. Среди нас были две девушки в черных свитерах и с сильно накрашенными глазами, вид у них был более декадентский и западный, чем у кого-либо из тех, с кем я встречалась раньше. Они сидели на кровати и от нечего делать листали польский журнал о кино... К сожалению, напряжения в сети едва хватало для того, чтобы горели лампочки, играл магнитофон и вращалась елка, и каждые полчаса все отключалось. Мы умирали с голоду, ожидая двенадцати. На пятнадцать человек у нас было одиннадцать бутылок шампанского, семь водки и десять вина. В полночь мы услышали по радио бой кремлевских курантов и выпили шампанского, елка кружилась с огромной скоростью. Джаз играл на полную громкость, открыли водку, поставили на стол колбасу, горячую картошку и маринованные огурцы. Все очень быстро напились и танцевали джаз, как сумасшедшие, посреди разбросанных как попало вещей. Кто-то бросил волейбольный мяч прямо в окно. У одной из девушек было больное сердце, с ней случилась истерика, когда она увидела, что Володя целуется в коридоре с другой, и ее пришлось уложить в постель. Я была пьяна больше, чем когда-либо в своей жизни, и, оставив Боба в комнате, вышла на улицу, где меня вырвало, после чего заснула на одном из диванов. Некоторые пошли спать, некоторые — нет. Лида уселась на снег и плакала. Но к десяти утра на следующий день все были бодры как никогда, играли в волейбол, а мальчики принимали снежные ванны. Все пустые бутылки собрали и обменяли в деревне на красное вино и водку, и на завтрак была водка с чаем. Я чувствовала себя ужасно. Мы с Бобом прошли прогуляться по деревне и оказались в пивной. Он чуть было не подрался с двумя мужиками безо всякой причины. В пятнадцать лет он подрался с тремя милиционерами возле кинотеатра «Великан», сломал запястье одному и челюсть другому, который, к несчастью, еще и проглотил свой свисток. Бобу удалось избежать длительного заключения только потому, что его мать была старым членом партии и врачом, она представила медицинское свидетельство, что пятнадцатилетний мальчик не мог бы нанести таких увечий, и подкупила судей. У других тоже были неприятности с милицией. Витя, маленький и юркий, целью жизни которого было выглядеть как Энтони Иден (однажды он увидел его фотографию в белом смокинге и с тех пор находился под этим впечатлением), недавно по-

просил мужчину в телефонной будке побыстрее закончить разговор. Когда мужчина вышел, то ударил Витю, который, естественно, ударил в ответ. Собралась толпа, прибыла милиция, и мужчина обвинил Витю в том, что он оскорбил его, еврея; это разъярило Витю, потому что он был одним из немногих противников антисемитизма...».

Абстрактное искусство, джаз, Хемингуэй — их интересовали эти стороны западной жизни, а не политика. Все мои знакомые считали само собой разумеющимся, что советская система идет впереди всей планеты в бесплатном медицинском обслуживании, образовании, отсутствии безработицы и что целью внешней политики руководителей государства является борьба за мир и помощь отсталым государствам. В шестидесятых, как бы критически люди ни были настроены по отношению к советскому обществу, они рассматривали запад только как удивительное экзотическое место, но ни коим образом не как пример для подражания. Вторжение в Венгрию воспринималось как необходимый шаг для предупреждения возврата к капитализму. Я помню, как мы с Верой ходили на собрание в общежитии, организованное студентами из Восточной Германии для обсуждения строительства Берлинской стены, что было признано всеми присутствующими как необходимая мера. Это было время, когда очень серьезно относились к шпионам и секретным агентам, так же, как и к внешней политике советского государства. Это было время, когда молодежь считала, что страну ждет лучшее будущее. Никто не принимал всерьез заявления Хрущева о том, что к 1980 году в стране будет построен коммунизм, но казалось вполне реальным повысить уровень жизни и устроить ее не так, как на западе. Реформы представлялись не только возможными, но и неизбежными. Никто, конечно, не ожидал сиюминутных изменений. Все понимали, что некоторые вещи, такие, как свободные поездки на запад, — дело далекого будущего. Но, когда во время лыжной прогулки по заснеженному лесу, в дни принятия новой программы партии, обещавшей коммунизм к 1980 году, я сказала Эльмару: «Ну, по крайней мере, при коммунизме ты сможешь путешествовать!», то это была шутка. Это не могло случиться *так* скоро. Был запущен спутник, и студенты кричали и размахивали простынями из окон общежития.

\*\*\*

По своим знакомым среди студентов и жителей Ленинграда я поняла, что не существует «типичного советского гражданина». Они все были столь же различны и интересны, как и друзья и знакомые в Англии. Но, за исключением Эльмара, в небольшой степени Левы, и изредка — Володи, никто практически никогда не вел политических дискуссий, даже теоретического плана. Сталинские лагеря и репрессии

обсуждались, но вопросы, очень интересовавшие нас на западе: кто был прав — меньшевики или Троцкий, появился ли новый класс, как двигаться дальше государственного социализма, как бороться с системой привилегий — просто-напросто не поднимались. Не существовало социологии и политических наук. В соответствии с темой моей работы (трудовые споры на предприятиях) меня направили на кафедру трудового права юридического факультета. Мое неожиданное появление в разгар заседания кафедры, которое, как я потом узнала, могло продолжаться часами, было встречено с настороженным удивлением. В этот первый раз я сидела на стуле и непонимающе улыбалась в течение часа. Затем воцарилась тишина, и один из преподавателей сказал, повернувшись ко мне: «Пожалуйста, расскажите нам об английском праве». Я старалась на своем сбивчивом русском объяснить, что я не юрист. На кафедре никого не интересовала теория Маркса об отчуждении труда или отношения между собственностью и контролем, но мне повезло, что преподаватели кафедры были заинтересованы в улучшении Кодекса законов о труде, в усилении роли профсоюзов и судов; в то время подобные темы уже могли включаться в политическую повестку дня. Для студентов-юристов было обычным делом собирать информацию на заводах, в судах и прокуратуре. Моя тема не вызывала сомнений, и мой руководитель, А.С. Пашков, относился ко мне так, как будто бы я была одной из его аспиранток. Я должна была изучать юридическую литературу, а затем проходить практику в судах и на заводах.

В результате я узнала, как коллектив кафедры ведет совместную работу и организует совместные проекты. Мы, к примеру, исследовали незаконное введение сверхурочной работы на предприятиях Ленинграда в честь съезда партии. Я потихоньку привыкала к длиннейшим заседаниям, на которых обсуждалось расписание занятий, недавно вышедший закон или работа кого-либо из сотрудников. Мы обсуждали новую программу партии, и Пашков весело возражал мне, когда я скептически оценивала возможность преодоления различий между городом и деревней и умственным и физическим трудом в СССР в течение 20 лет, но я не вступала в дискуссии на подобные темы. Я знала, что существуют правила для публичных обсуждений и что даже в частной беседе он будет чувствовать себя обязанным защищать передо мной партийную линию. Это не сказывалось на наших рабочих взаимоотношениях, так же как и мое присутствие на заседаниях кафедры не влияло на ход обсуждения.

Сидя в канцеляриях судов, просматривая дела и присутствуя на слушаниях гражданских и уголовных дел, проводя время на заводах и фабриках (тяжелого машиностроения, измерительных приборов, обувных и кондитерских), читая документы в профкомах или отделах труда и заработной платы, я получила представление о том, как решались

повседневные вопросы. Картина была гораздо интереснее и запутаннее, чем я ожидала, и, как следовало из законодательства и судебной практики, сталинская система диктаторского контроля на заводах начинала понемногу смягчаться. В своей диссертации я написала об этих изменениях. С моей точки зрения, отношения на производстве или в обществе ни коим образом нельзя было описать как социалистические (то есть как существующие в обществе, где свободные и равные граждане участвуют в принятии решений, влияющих на их жизнь), и теперь я была гораздо более критически настроена по отношению к советскому обществу, чем после первого своего короткого приезда. Однако ни то, ни другое не означало, что цели основоположников социалистического строя нужно подвергать сомнению. Некоторые черты советского строя были привлекательны: большие возможности для получения образования, широкий выбор рабочих мест для женщин, отсутствие расточительного потребления и бросающегося в глаза снобизма, свойственных британскому обществу. Хотя бюрократические препоны и невозможность придерживаться ранее достигнутых договоренностей доводили меня до отчаяния, мне нравились беспорядок, нелогичность и эмоциональная теплота, которые были присущи любой деятельности. Реальность была сложнее, чем ее отображение в стандартных западных или советских анализах, и я меньше стала интересоваться Марксом. Задача, как я отметила в предисловии к книге, написанной на основе моей диссертации, состояла не в том, чтобы восток и запад льстили друг другу или критиковали друг друга, «не в сравнении существующих общественных систем так, как будто они представляют собой единственно возможные альтернативы социального устройства», а в том, чтобы улучшать обе системы. Я посвятила книгу «петроградским фабричным комитетам 1917 года в надежде, что их идеалы когда-нибудь будут достигнуты». Редактор «Оксфорд Юниверсити Пресс» попросил меня изменить посвящение — издательство считало его слишком провокационным — и, ничего не зная о правах автора, я убрала вторую половину.

В эти годы мы ездили в Прибалтику, Новгород и Псков, в Москву, на юг к Черному морю, в Одессу и Ялту, в Грузию, Ташкент, Бухару и Самарканд, но всегда в составе группы и всегда останавливались в гостиницах Интуриста. Часть России, простиравшаяся по Уралу и Сибири, оставалась вне зоны досягаемости, и путешествовать с рюкзаком за плечами могли лишь мои русские друзья. Эльмар писал о байдарочных походах по бурным рекам и палаточной жизни в северных лесах, Володя — о встречах с медведицей и медвежатами в Сибири, близнецы поехали в археологическую экспедицию и спортивный лагерь на юг в горы. Вера уехала на Сахалин. Я же в июле 1963 вернулась в Англию, а оттуда — в Шотландию, в Глазго.